

Дмитрий Сергеевич Мережковский

14 декабря

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
М52

М52 **Мережковский Д.**
14 декабря / Дмитрий Сергеевич Мережковский – М.: Книга по Требованию,
2012. – 196 с.

ISBN 978-5-4241-1345-1

В историческом романе известного русского прозаика, поэта, религиозного мыслителя и критика Д.С.Мережковского (1866-1941) отражены духовные, идейные и нравственные искания дворянских революционеров, драматические события, приведшие к декабрьскому восстанию.

ISBN 978-5-4241-1345-1

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2012

© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2012

Дмитрий Сергеевич
Мережковский
14 декабря

Книга первая.

Четырнадцатое

Часть первая

Глава первая

– Любить землю – грех, надо любить небесное. А я не могу, – больше всего на свете люблю Черемушки. Пока в них жила – и не знала, что так люблю. А вот уехала – и залюбила, затосковала до смерти...

– Вы землю вашу как живую любите, Марья Павловна?

– Ну, конечно, живая! Выбегу, бывало, в рощу – молодые березки – тоненькие, как восковые свечечки, кожаца у них такая мягкая, теплая, солнцем нагретая, совсем как живая. Обниму, прижмусь щекою и ласкаюсь, целую: миленькая, родненькая, сестричка моя!

В голубоватом свете зимних сумерек, едва пробивавшемся сквозь обледенелое оконце кибитки, князь Валериан Михайлович Голицын, взглядываясь в милое лицо девушки, думал: «Сама, как та березка весенняя».

Марья Павловна Толычева с виду была обыкновенная уездная барышня из тех, о которых сказано:

Разделены ее досуги

Между роялем и канвой

Одета по модной картинке из «Телеграфа»: меховой палантин добротного бабушкина гродетюра темно-зеленого, клетчатый капор с розовыми лентами; густая черная коса заплетена в виде корзиночки, с висячими вдоль щек легкими гроздьями локонов; старинные гранатовые серьги в ушах, верно, тоже подарок бабушкин. Хорошо воспитана по-французски. А у самой лицо, как у деревенской девушки, которая сидит на завалинке в желтом, с красными горошинами, платочке, смеется с парнями и грызет семечки.

Может быть, никого еще не любит, но благоуханьем любви окружена, как цветущая сирень свежестью росною.

И все это чувствуют: станционные смотрители, шлагбаумные инвалиды, распаренные чаем купцы толстобрюхие, ямщики краснорожие, – все, глядя на Марью Павловну, думают: «Ах, хороша девка!»

По дороге из Василькова в Петербург Голицын остановился в Москве, чтобы повидаться с членом Тайного Общества, Иваном Ивановичем Пушиным. Пущин, служивший в Уголовном Департаменте Московского Надворного Суда, жил у тетки, старосветской барыни, в захолустном особняке, в приходе Пятницы Божедомской, на Старой Конюшенной. Здесь, тоже проездом в Петербург, остановилась дальняя родственница Пушиных, серпуховская помещица Нина Львовна Толычева с девятнадцатилетнею дочкою, Марией Павловной. Голицын согласился сопровождать их, по просьбе Пущина.

Тогда только что начал ходить из Москвы в Петербург почтовый дилижанс – низкий, длинный возок, обтянутый кожей, с двумя оконцами, сзади и спереди. Лежать в нем было невозможно: четыре человека, разделенные перегородкой, сидели друг к другу спиной и смотрели – двое вперед, двое назад – по дороге; а

так как прежняя зимняя кибитка означала лежанье, то ямщики прозвали это новое изобретение «нележанцами». Голицын, с обеими дамами и состоявшей при них горничной девкою Палашкою, отправился в таком нележанце.

Госпожа Толычева, родом из семьи зажиточной, привыкла ездить не иначе, как по дворянскому обычаю, на своих, на долгих, с молельнею, кухнюю, с обозом домашней клади и дворовой челяди. Почтовых дилижансов боялась как неслышанного новшества и рада была надежному спутнику.

Тотчас рассказала ему всю свою историю. Воспитывалась в Смольном. Почти прямо из института вышла замуж и без малого двадцать пять лет прожила с мужем, как у печки погрелась. Павел Павлович Толычев служил в армии; за Итальянский поход произведен Суворовым в подпоручики; в Двенадцатом году ранен; вышел в отставку с чином подполковника. Был большого ума человек и даже сочинитель – в «Сионском Вестнике» статья его напечатана с господином Лабзиным¹ был в дружбе, а когда его за вольные мысли сослали, едва не добрались и до Павла Павловича. Терпел гонения, потому что любил правду, злых людей обличал, лихоимцев-чиновников и тиранов-помещиков. Самому архиерею доказывал, что не должно быть крепостного состояния – ни господ, ни рабов. Собственных крестьян своих пожелал отпустить на волю, но начальство не позволило. Фармазном объявили, безбожником и возмутителем. Губернатор хотел в острог посадить. От многих огорчений Павел Павлович заболел и скоропостижно умер. Нина Львовна осталась одна-одинешенька с малолетнею дочкою. Трех детей при муже схоронила; Маринька – последняя. Дела по имению расстроились; видя доброту покойного барина и не понимая благородных чувств, мужики – отродье хамово – избаловались так, что никакого с ними сладу нет; половина в бегах, половина – пьяницы; ни оброка, ни подушных не платят. Сама ничего в хозяйстве не смыслит; знакомые дамы прозвали ее белоручкою за то, что не бивала людей: боится-де замарать свою ладонь о холопыи щеки. А управляющий – плут. Имение в Опекунском Совете заложено – долг 25.000, а процентов нечем платить, – продадут с молотка, и ступай по миру.

Но Сам Господь над ними, сиротами, сжалился – послал доброго человека. Приехал к родным из Петербурга в Серпухов статский советник Порфирий Никодимыч Аквилонов – в Департаменте Внешней Торговли служит, – на балу в уездном клубе увидел Мариньку и так пленился, что через несколько дней предложение сделал. Человек немолодой, лет за пятьдесят, но почтенный, благонамеренный, на прекрасном счету у начальства и большой капитал, говорят, имеет. А в Мариньке души не чаёт. «Если, говорит, согласьем очастливите, ничего не пожалею для счастья вашей дочери: выйду в отставку, хозяйством займусь в Черемушках и дела ваши поправлю». Маринька не отказала, но просила подумать. И Нина Львовна не неволит дочери: сама понимает, дело молодое – любви хочется, союза сердечного. А Порфирий Никодимыч ей не пара – в отцы годится. Так-то год прошел, все думала, и наконец, письмо получили от господина Аквилонова: почтительнейше просит участь его решить и, ежели есть надежда, хоть малая, в Петербург пожаловать для свидания личного; да и самой Нине Львовне должно прибыть без отлагательства по делам имения, так как уплата взносов просрочена, могут наложить запрещение и объявить торги.

Есть у них еще надежда на троюродную бабушку, Наталью Кирилловну Ржевскую. Старуха богата, да скупа и привередлива: как заладила, чтоб имение

продали и к ней на житье в Петербург переехали, так и стоит на своем. «А то, говорит, ломаного гроша от меня не получите». А Маринька об этом слышать не хочет. «Лучше, говорит, выйду за Аквилонова, а не уеду из Черемушек. Здесь родилась, здесь и умру».

Кончив рассказ, Нина Львовна заплакала: как ни хвалила жениха, а жаль было дочери.

Голицын сидел в своем отделении ночью с Палашкою, а днем с Ниной Львовной. Но на второй день разболелась у нее голова, и, чтоб ей отдохнуть полулежа, Палашку усадили к ящику на козла, а Марья Павловна пересела к Голицыну.

Нележанец полз черепахою. Санний путь еще не стал как следует; снегу было мало, полозья визжали по голым камням; возок встряхивало. За перегородкой слышно было сонное дыхание Нины Львовны. Колокольчик звенел усыпительно. В замерзшем оконце густел голубоватый свет вечерних сумерек, похожий на свет, который бывает во сне. И обоим казалось, что снится им сон незапамятно-давний, много раз виденный.

– А мне все кажется, Марья Павловна, что мы уже с вами когда-то виделись. Только вот не могу вспомнить, когда, – сказал Голицын, продолжая вглядываться в милое лицо девушки.

– А ведь и мне... – начала она и не кончила.

– Ну что?

– Нет, ничего. Глупости, – отвернулась, покраснела. Вообще легко краснела, внезапно и густо, во всю щеку, как маленькая девочка, и тогда становилась еще милее. Наклонившись к оконцу, провела по ледяным узорам тоненьким розовым пальчиком.

Вглядывалась в Голицына украдкою, пристально, и лицо его странно менялось в глазах ее, как будто двоилось: то сухое, жесткое, желчное, с недоброй морщинкой около губ, вечно-насмешливой, с пронзительно-умным и тяжелым взглядом из-под слепо поблескивавших стекол очков – она их вообще не любила: только старики да ученые немцы, казалось ей, носят очки – чуждое, почти страшное; а то вдруг – простое, детское, милое и такое жалкое, что сердце у нее сжималось, как будто чуяло, что этому человеку грозит беда, опасность смертельная. Но все это темно и смутно, как сквозь вещей сон.

– Я ведь вас боюсь немножко, – проговорила, все так же вглядываясь в него, украдкою, пристально. – Кто вас знает, может быть, и вы такой же насмешник, как Иван Иванович?

– Пушин предобрый; его бояться нечего. Да и меня тоже.

– Вы тоже добрый?

– А вы как думаете, Маринька... Марья Павловна?

– Ничего. Меня все зовут Маринькой. Я сама не люблю Марьи Павловны, – заглянула ему прямо в глаза и улыбнулась: он – тоже. Смотрели друг на друга, улыбаясь молча, и оба чувствовали, что эта улыбка сближает их неудержимо растущою близостью, жуткой и радостной, как будто после долгой-долгой разлуки вспоминали, узнавали друг друга.

Вдруг опять отвернулась, покраснела, потупилась. Но сквозь длинные ресницы опущенных глаз он успел поймать стыдливо блеснувшую ласку, – может быть, не к нему, а все равно к кому, – ко всем: так солнечный луч равно ласкает все, на

что ни упадет.

– Уж вы меня извините, князь, – проговорила, все еще не поднимая глаз. – Я ужасно дикая. Все одна да одна в своих Черемушках, вот и одичала. С людьми говорить разучилась. Всего боюсь.

– Не стоит людей бояться, Маринька: бояться людей, значит их баловать.

– Да я не людей боюсь, а сама не знаю чего. В Черемушках я не боялась, всегда была храбрая, а как оттуда уехала – такое вдруг все чужое, страшное. Когда была маленькой, няня, бывало, уложит, перекрестит, задернет на кроватке занавеску и говорит: «Спи, говорит, дитяtko, спи с Богом! У кота ли воркота, колыбелька хороша. Да гла́зок не открывай, из-под занавески не выглядывай, а то возьмет Хо – вон оно под кроваткой лежит». А потом я часто думала, что не только под кроваткой, а везде – Хо. Вся жизнь – Хо...

– А вы от него отчурайтесь, оно вас и не тронет.

– Да как отчураться?

– Будто не знаете?

– Не знаю... Нет, право, не знаю, – медленно, как бы в раздумье, покачала она головой, и длинные локоны вдоль щек, как легкие гроздьи, тоже качнулись. Возок на замерзшем ухабе подпрыгнул, лица их нечаянно сблизились, и нежный локон коснулся щеки его, как будто обжег поцелуем.

– А вы знаете? Ну так скажите.

– Нельзя сказать.

– Почему нельзя?

– Потому что каждый сам должен знать. И вы когда-нибудь узнаете.

– Когда же?

– Когда полюбите.

– Ах, вот что, любовь? – опять покачала головой сомнительно. – А как же говорят, нынче и любви-то настоящей нет, а одна измена да коварство?

– Кто говорит?

– Все.

Le plus charmant amour

Est celui qui commence et finit en un jour.²

Это мне Пущин намедни сказал. И тетенька тоже: «Ах, говорит, Маринька, ты еще не знаешь, какая это птица любовь: как прилетит, так и улетит». И бабенька...

– Сколько их у вас, тетенок да бабенок!

– Ох, много, страсть!

– И вы им всем верите?

– Ну, конечно!

У нее была привычка повторять эти два слова: «Ну, конечно!», и она делала это так мило, что он ждал, когда она их скажет.

– Как же не верить? Надо верить старшим. Сама-то ведь глупенькая, так вот умным людям и верю. Я вся из чужих слов, как одеяльце из лоскутков пестренких.

– А под одеяльцем кто-то прячется? – улыбнулся он.

– А вот узнайте кто, – прищурилась она, глядя на него исподлобья и тоже улыбаясь лукаво-дразнящей улыбкой. И опять блеснул тот солнечный луч, который ласкает все, на что ни упадет.

Помолчала, вздохнула, и лицо омрачилось мыслью недетскою.

– Так-то, князь. Любовь улетит, а Хо останется: оно ведь без крыльев, как червяк, ползучее, или вот как большой, большой паук, ужасный, отвратительный...

Оба замолчали и опять почувствовали, что молчание сближает их неудержимо растущей близостью.

– Ну, хорошо, – сказал Голицын, – пусть бабенки да тетеньки как им угодно. А вы-то сами хотите, чтоб любовь улетела?

– Ну, конечно, нет! Я люблю любить крепко – не умею любить немножко. Надо, чтоб епанча не спадала с одного плеча, а держалась на обоих твердо.

– Так, Маринька, так! – посмотрел на нее Голицын, как будто, наконец, вспомнил, узнал: «Так вот ты кто!»

– Какая вы хорошая! – проговорил уже другим, тихим голосом.

– Ну, вот, нашли хорошую! Вы меня еще не знаете. Спросите-ка маменьку: она вам скажет, какая я несносная девчонка, злая, упрямая.

– Послушайте, Маринька, можно с вами говорить просто?

– Ну, конечно. Я сама люблю – просто. Этих церемоний терпеть не могу!

– Так вот что, Марья Павловна, – начал он и вдруг остановился; так же, как давеча Маринька, отвернулся, покраснел и потупился. Она посмотрела на него с любопытством.

– Не выходите замуж за господина Аквилонова, – проговорил он с внезапной решимостью.

– Это еще что? Почему?

– Потому что вы его не любите.

– Как не люблю? Жених – значит, люблю.

– Нет, не любите. Он для вас – Хо.

– Какие глупости! Человек прекрасный, почтенный, благонамеренный. Может составить счастье всякой девушки. Это все говорят – и маменька, и тетенька, и бабенка...

– А все-таки не выходите.

– Да вам-то что? Какой чудак! И как вы смеете? Мне бы рассердиться надо, а я не умею, дура...

– Ну, простите. Не буду. Не сердитесь, хорошая моя, милая, милая девушка...

Он вдруг замолчал. Взглянул на нее украдкой. Опять, как давеча, наклонилась к замерзшему оконцу и дышала на него, приложив ладони ко рту; потом начала что-то выводить пальчиком на кружке оттаявшем.

– *В*. Видите, *В*? Ведь имя вашей невесты с *В*?

– Какой невесты?

– Вот тебе на! Хорош жених – невесту забыл! Ай-ай-ай, разве так можно? И чего вы от меня таитесь? Я же знаю, мне Пущин сказывал: у вас в Петербурге – невеста красавица; имя – с *В*... Василиса, что ли? Валериан да Василиса. Вот как ладно, – с одной буквы оба имени! – рассмеялась она звонко, как будто весело, а глаза были грустные.

– Почему с *В*? Ах, да, – «Вольность», – догадался Голицын и вспомнил:

Мы ждем, в томленьи упованья,

Минуты вольности святой,

Как ждет любовник молодой

Минуты сладкого свиданья.

– А знаете, князь, ведь это, может быть, и не так? – вдруг перестала смеяться и посмотрела на него строго, почти сурово.

– Что не так?

– Да, вот, насчет любви. Не любовь спасет от Хо.

– А что?

– Не знаю, не умею сказать. Есть такие стишки – покойный папенька их очень любил:

В смиреньи сердца надо верить

И терпеливо ждать конца, —

сказала тихо, но в этой тишине была такая сила, что Голицын посмотрел на нее с удивлением: только что была дитя, и вот – женщина.

В эту минуту возок, съезжая с косогора, наклонился набок и едва не опрокинулся. Маринька в испуге вскрикнула и, схватившись за ручку сиденья, положила нечаянно руку на руку Голицына. Он крепко сжал ее и наклонился близко к самому лицу ее. Она чуть-чуть откинулась, хотела отнять руку, но он не пустил.

– Marie, – послышался невнятный голос Нины Львовны за перегородкою.

Маринька прислушалась, но не ответила. И оба притаились в темноте, как дети, которые шалят.

– А у вас над бровью мушка, – прошептал он смеющимся шепотом.

– Не мушка, а родинка, – ответила она таким же веселым шепотом. – Когда я была маленькой, дети дразнили меня: «У Мариньки родинка – Маринька уродинка!»

Он склонился к ней еще ближе, и она еще дальше откинулась.

– Родная, родная, милая! – прошептал он так тихо, что она могла бы не слышать, если б не хотела.

– Marie, où es tu donc, mon enfant³, — позвала Нина Львовна уже внятным, проснувшимся голосом.

– Здесь, маменька! Я сейчас... А вот и станция!

Возок остановился. Красные огни и черные тени в оконце забегали. Маринька встала.

– Не уходите, – шепнул Голицын.

– Нельзя. Маменька будет сердиться.

Он все еще держал ее за руку. Вдруг поднес руку к губам и поцеловал куда никто не целует – в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

На ночь пересела к нему, по обыкновению, Палашка, а днем – опять Маринька. Госпожа Толычева перестала церемониться и позволяла дочери сидеть с ним сколько угодно.

Но потому ли, что Нина Львовна не спала и могла их слышать, или потому, что Маринька сама вдруг замкнулась, насторожилась после вчерашнего, – разговор был неловок и незначителен. Она рассказывала о своем житье в Черемушках. В рассказе все было просто и буднично, но стариной незапамятной веяло от него, как милою сказкою.

В конце липовой аллеи с грациными гнездами, на самом обрыве, над тихой речкою Каширкою – дедушкина беседка с полустертою на фронтоне надписью: «Найти здесь спокойство». В этой беседке Маринька читала «Удольфские

таинства» госпожи Радклиф и «Страдания Ортенберговой фамилии» господина Коцебу. Вообще любила читать «ужасное и чувствительное». А зимою, в сумерки, когда в полутемной гостиной голубой свет луны сквозь обледенелые окна смешивался с красным светом лампадки из маменькиной спальни, кузина Адель пела под клавикорды старинные песенки, такие глупые, такие нежные:

Звук унылый фортепьяно,

Выражай тоску мою.

Или еще:

Уж пробил час, и нам расстаться,

Быть может, должно навсегда!

Ах, лъзя ль не плакать, не терзаться?

Бог весть, увидимся ль когда.

И Маринька, слушая, плакала.

Верила в гаданья, приметы вещи, которым научила ее старая няня Петровна: если увидит нитку на полу или круг на песке от лейки – ни за что не переступит. Знала, что, когда топится печь и летят искры, – будут гости; а когда петух поет в необычное время, – надобно снять его с насести и пощупать ноги: теплые – к вестям, холодные – к покойнику.

Была хозяйка куда лучше маменьки. У них, в Серпухове, дешево все: мясо – пять копеек фунт, пара цыплят – пятьдесят, огурцы – сорок за четверик. Умела их солить как никто во всем уезде. И рукодельница была искусная. Раз начесали шерсти из овечьих душек – что у овец на груди и под шейей, – вымыли и привезли. А Пелагея у них славно прядет – вышла мягкая, чудесная шерсть, но белая вся, а узор без теней вышивать нельзя. Что же бы вы думали? Сама выкрасила и очень недурно; прекрасный коврик вышила.

– Вы это нарочно, Маринька? – рассмеялся, наконец, Голицын, не выдержал.

– Что нарочно?

– Я вам о любви, а вы об огурцах соленых и о душках!

Ничего не ответила, только закусил губку, приложила к ней пальчик и кивнула головой в сторону маменьки, как будто у них была уже общая тайна.

И о чём бы ни говорили, – в каждом слове было иное значение, тайное, важное. Иногда вдруг умолкали, улыбаясь друг другу с удивлением радостным, как будто после долгой разлуки наступило свидание блаженное. И оба чувствовали опять, как вчера, что, хотя не хотят, а сближаются неудержимо растущей близостью. Все еще боялась его, не верила, но, когда сквозь длинные ресницы опущенных глаз ловил он стыдливо блеснувшую ласку, ему казалось, что ласка эта уже не для всех, как вчера, а для него одного.

«Что я делаю? Зачем смущаю бедную девушку?» – иногда опоминаться он, а потом опять все забывал, опьяненный благоуханием любви, которым окружена была милая девушка, как цветущая сирень свежестью росною.

«Вот бы вам, Голицын, жениться на Мариньке», – вспоминал слова Пущина; принял их тогда за шутку. – «Мы голову несем на плаху, а вы о женитьбе, Пущин!» – «Ну, что ж, и на плаху идти веселее женатому: все-таки поплачет кто-нибудь. Нет, право, женились бы, избавили бы девушку от старого плута и выжиги, господина Аквилонова».

Самому ему противно было думать, что Маринька выйдет замуж за Аквилонова. Когда в паутине бьется мотылек, хочется спасти его от паука. Но как это

сделать? В Петербурге будет ему не до Мариньки: там заговор, восстание, низвержение тирана, освобождение отечества. А может быть, судьбы царств и народов не более весят на весах Божьих, чем судьба одной души человеческой?

Что же такое встреча их – случай или судьба? Если только случай, то почему это узнавание, вспоминание вешее, как в сновидении незапамятном? А если судьба, то почему он так уверен или хочет быть уверен, что мог бы полюбить ее, но никогда не полюбит, что в этом сне любви несбыточном, последней радости жизни, он с жизнью навеки прощается? Как тот путешественник, который, спасаясь в пустыне от зверя, кинулся в колодец, повис на суку, рвет ягоды с куста малины и ест, забыв о гибели.

Глядя на лицо ее, такое живое, вспоминал другое лицо, мертвое; в темном свете дневных свечей, в подвенечном белом платье, в гробу, вся тонкая, острая, стройная, стремительная, как стрела летящая, – шестнадцатилетняя девочка, Софья Нарышкина.

Не узнавай, куда я путь склонила,
В какой предел из мира перешла.
О, друг, я все земное совершила:
Я на земле любила и жила.
Нашла ли их, сбылись ли ожидания?
Без страха верь: обмана сердцу нет;
Сбылось все: я в стороне свиданья
И знаю здесь, сколь ваш прекрасен свет.
Друг! На земле великое не тщетно:
Будь тверд, а здесь тебе не изменят...

Не изменит она – не изменит и он. Та первая любовь – последняя. И если бы даже полюбил он Мариньку, не изменил бы Софье. Обе – вместе, земная и небесная. Как в последнем пределе земля и небо – одно, как Софья с Маринькой.

На третьи сутки утром возок подъезжал к Петербургу. Когда миновали последнюю станцию, Пулковую, потянуло со взморья теплом; замерзшее оконце оттаяло, заплакало, и сквозь слезы забелела равнина, унылая, снежная, с болотными кочками, как будто могилами исполинского кладбища. А на самом краю белой равнины – черные точки – дома Петербурга.

– Ну, прощайте, князь, – сказала Маринька. – Сейчас приедем. Я к жениху, а вы к невесте... Вспоминать обо мне будете?

Он молча поцеловал руку ее, опять, как давеча, в ладонь, теплую, свежую, нежную, как чашечка цветка, солнцем нагретая.

– Придете к нам в Петербурге? – спросила она шепотом.

– Приду.

– А если невеста не пустит?

– Никакой у меня невесты нет.

– Правда?

– Правда.

– Честное слово?

– Честное слово. А у вас, Маринька, нет жениха?

– Не знаю. Может быть, и нет.

И опять улыбнулись друг другу, молча, – узнали, вспомнили. «Я мог бы тебя полюбить», – сказал глубокий взор его. «И я могла бы», – ответила она таким же